

## МИР «УНИЖЕННЫХ И ОСКОРБЛЕННЫХ»

Ранним утром в конце декабря 1849 года Достоевский вместе с другими петрашевцами — участниками небольшого кружка, занимавшегося усвоением социалистических систем и вопросами радикального изменения общества, стоял на Семеновском плацу Санкт-Петербурга в ожидании смертной казни. Память о повешенных декабристах была свежа, и трудно было надеяться на пощаду. Но петрашевцам, измученным допросами, одиночным заключением и мыслью о грозящем исходе, в последнюю минуту объявили высочайшую волю: Николай I милостиво заменил смертную казнь Сибирью.

Почти все следующее десятилетие, на которое приходится конец николаевского царствования, неудачи крымской кампании, очевидный крах веками складывавшегося порядка, Достоевский был вдалеке от важнейших событий и проблем русской жизни. Она, однако, изменялась в направлении, писателю вполне понятном. Социальные противоречия, нищета деревенского и городского люда, угроза новых буржуазных отношений, пугающих западными примерами, ставили перед всей думающей Россией те самые вопросы, которые в 1840-е годы и привели Достоевского в социалистический кружок. Для русской интеллигенции наступило время анализа, подведения исторических итогов и проектов возможного будущего, требующего коренных перемен. Недовольство и протест одних, растерянность и страх других, общее брожение во всех слоях русского общества вызвали отмену крепостного права и остальные реформы начала 1860-х годов. Россия оказалась на пороге того исторического этапа, с опытом которого в крови социальных потрясений уже многие годы знакомилась Западная Европа.

Роман «Униженные и оскорбленные» появился в эту пору. Он был написан в 1860—61 годах, когда Достоевский после вынужденного молчания сибирской каторги и ссылки получил возможность вернуться к художественной деятельности. Восторженно встре-

ценный Белинским в самом начале творческого пути, писатель никогда не забывал пророчеств великого критика, суливших автору «Бедных людей» блестящую будущность. Достоевскому предстояло вновь вступить в литературу, где с полной силой звучали имена Тургенева, Л. Толстого, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, и подтвердить эти давние и восторженные прогнозы. Первые повести художника, в течение долгих лет оторванного от творческой работы, не оправдали авторских ожиданий: «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели» (1859) не были замечены критикой. Но два больших романа — «Униженные и оскорбленные» и «Записки из Мертвого дома», — создававшихся одновременно и вышедших в свет вслед за этими повестями, принесли Достоевскому широкую известность. Писатель стал в ряд лучших представителей новой русской литературы. «Роман г. Достоевского, — писал Добролюбов по поводу «Униженных и оскорбленных», — до сих пор представляет лучшее литературное явление нынешнего года... едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с похвалою»<sup>1</sup>.

Несмотря на одобрение первых читателей, «Униженные и оскорбленные» с большим трудом, чем «Записки из Мертвого дома», поддавались осмыслению, и критики, обвинявшие автора в отсутствии правдоподобия и «художественности», лишь ясно обозначили эту трудность. Законы повествования, примененные Достоевским в «Униженных и оскорбленных» и характерные для этого писателя, не воспринимались (да и теперь не всегда воспринимаются) читающей публикой, воспитанной на других образцах.

Роман Достоевского (и это составляет его особенность) в высшей степени «литературен». В отличие от большинства писателей-реалистов Достоевский озабочен не только воспроизведением текущей жизни, но и ее отражением в философии, публицистике, художественном творчестве. Его собственная мысль с такой же смелостью освещает факт, еще никем до него не отмеченный, с какой она перерабатывает чужие идеи. Жизнь и литература у Достоевского в равной мере являются материалом, служащим основанием для новой постройки. И его роман рассчитан на углубленное внимание, запоминание отдельных деталей, соотнесение их друг с другом и с теми вне романа лежащими источниками, о которых писатель говорит прямой либо завуалированной цитатой. Каждое слово в таком повествовании способно повернуться неожиданным смыслом, потребовать задержки и припоминания какого-то другого текста или даже нескольких текстов, ведущих читателя к пра-

---

<sup>1</sup> Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 7. М. — Л., 1963, с. 228.

вильному пониманию дальнейшего рассказа и подсказывающих пути его многоплановых толкований.

Повествование в «Униженных и оскорбленных» передано вымышленному лицу — молодому писателю, едва появившемуся в литературе и уже умирающему от изнурительной болезни. Его зовут Иваном Петровичем — точно так же, как повествователя пушкинских повестей («Повести покойного Ивана Петровича Белкина»)¹ Первый роман этого героя, вызвавший радостный отклик критика Б. и «шум и гам в литературном мире», напоминает обстоятельства выхода в свет «Бедных людей». Герой, от лица которого в «Униженных и оскорбленных» идет рассказ, таким образом, очевидно сближен с Достоевским, реальным автором нашумевшего в 1840-е годы социального романа. Было бы, однако, слишком торопливым желание продолжить эту связь, перейдя подчеркнутые здесь временные рамки, и предположить в повествователе «Униженных и оскорбленных» alter ego позднего Достоевского. Иван Петрович не более автобиографичен, чем герой автобиографической трилогии Л. Толстого, которую он упоминает в своем рассказе. Между ним и Достоевским в момент создания «Униженных и оскорбленных» стоит неизвестный герою, но пережитый писателем опыт сибирской жизни и вынесенных оттуда размышлений. Вот почему, в частности, автору «Бедных людей» в «Униженных и оскорбленных» следовало умереть («покойный Иван Петрович»), чтобы впоследствии он мог возродиться в качестве автора «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых». «Униженные и оскорбленные» отмечают собой границу, одновременно и связывающую, и разделяющую две эпохи в творчестве Достоевского.

В центре романа — тема, всегда волновавшая писателя: неблагообразиие мира и человеческих отношений, которого нельзя не видеть, которое преступно было бы принять. «Какое же противозаконное дитя человек, — восклицал еще семнадцатилетний Достоевский; — закон духовной природы нарушен... Мне кажется, что мир наш принял значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира»². Именно в этом «сатирическом» направлении Достоевский рисует жизнь в «Униженных и оскорбленных». В сравнении с миром, каким ему надлежало бы быть — «высоким и прекрасным», — реальный мир настолько катастрофически снижен, что оказывается парадоксальным образом перевернут. Он обращен не вверх, к сфере ясной и горней, но опрокинут вниз, так,

¹ Альтман М. С. Достоевский. По вехам имен. Саратов, 1975, 30—31.

² Достоевский Ф. М. Письма, т. I. М.—Л., 1928, с. 46.

что люди, вещи и понятия при таком повороте по необходимости обретаются не на своих местах. Эта мысль является в романе основной, и все остальные варьируют, уточняют и развивают ее.

В самом широком плане она возникает в первой, вступительной и чрезвычайно важной главке. Заметим, что действие «Униженных и оскорбленных» начинается в сумерки. Сумеречные и ночные часы — общий фон происходящих в романе событий. Солнечный луч, животворящий и преобразующий все и всех, лишь затем время от времени здесь и мелькает, чтобы по контрасту усилить обычную для жизни тьму. Петербург (место действия) с его тусклым и дождливым небом остается сумеречным даже тогда, когда это небо кажется чистым. Только в детстве Ване и Наташе сияло «такое ясное, такое непетербургское солнце», только «тогда кругом были поля и леса, а не гряда мертвых камней, как теперь». Петербург «Униженных и оскорбленных» — это город без солнца, он сумеречно-мрачен по природе. В силу этого обстоятельства его обитатели одни и впрямь не имеют, другие не должны были бы иметь места под солнцем: ведь все они лишены его благой и живительной силы — тепла и света.

Тема места под солнцем, развиваясь, становится в романе многозначной. Но появляется она в связи с бедностью и нищетой, как социальная тема в духе «Бедных людей». Когда потухает последний солнечный луч, нищий Смит приходит в кондитерскую Миллера «единственно для того, чтоб посидеть при свечах и погреться». «Каждый раз он прямо проходил в угол к печке... Если же его место у печки бывало занято, то он, постояв... в бессмысленном недоумении против господина, занявшего его место, уходил... в другой угол к окну». В тот вечер, с которого начинается рассказ, Иван Петрович, войдя в кондитерскую, видит Смита сидящим у окна; следовательно, кто-то другой занял его обычное место. Однако, устроившись у окна (вдали от тепла, но, предполагается, вблизи хотя бы и тусклого света), старик и тут оказывается не на своем месте. Через некоторое время «с какой-то жалкой улыбкой — униженной улыбкой бедняка, которого гонят с занятого им по ошибке места», — он должен был выйти из комнаты. Уж если в кондитерской Миллера (где, как в каждой кондитерской, все места, собственно, свободны, так как нет чьих-либо личных мест) старик Смит не может найти приюта, то ему вообще нигде его не найти. Старик и «сам каждую минуту понимал, что его могут отовсюду выгнать как нищего». Бедняк обделен даже искусственным теплом и светом. Поскольку тепло и свет — источник жизни, бедняк, естественно, оказывается вне ее. Вот почему, выйдя из кондитерской, Смит умирает. Он окончательно лишен места, вытеснен в сырой холод и тьму, где уже никогда не может быть ни

тепла, ни даже сумеречного света. Он унижен до той последней ступени, ниже которой ничего нет. Только в этом низу, в исподней земли, бедняк занимает наконец свое место. История смерти Смита, рассказанная в начале романа, — возможная судьба всех бедных людей, о которых в дальнейшем говорится.

Но смерть для старика Смита не слишком заметный переход из призрачного существования в полное небытие. Еще живой, он появляется в романе как мертвец. Старик ничего не видит (иначе говоря, он слеп), ничего не слышит (он глух), ни с кем не говорит (он нем), и ему только остается перестать дышать, чтобы умереть совсем. Поэтому последнее, что Смит «хриплым, едва слышным голосом» произносит: «Душно... душно!» Самое появление этого старика сразу после заката солнца болезненно поражает рассказчика: ведь во тьме возникают призраки, действуют чуждые жизни чары. Это то время, когда

...могилы

Смущаются и мертвых высылают.

Стихи Пушкина и произведение, из которого они извлечены («Скупой рыцарь»), читатель должен припомнить благодаря прозрачной фразе: «Казалось, что эти два существа (старик и его собака. — В. В.) целый день лежат где-нибудь мертвые и, как зайдет солнце, вдруг оживают...» Мир Смита и таких, как он, униженных бедностью людей (дышат они в нем или уже не дышат) наиболее далек от солнца. Это мир вблизи смерти и мир самой смерти.

А между тем имя Смита, о котором в начале повествования ничего, кроме того, что он крайне беден, не известно, — Иеремия, что значит — возвышенный богом. Уж если самый униженный из людей оказывается возвышенным богом, то, стало быть, возвышены на самом деле они все. Это обстоятельство яснее других подчеркивает парадоксальную обращенность мира, изображенного в «Униженных и оскорбленных».

Согласно логике перевернутых отношений, все в этом мире происходит не так, как должно. Тяжба бедного и богатого (Ихменева с князем Валковским), которой начинается действие и которая, как утомительный мотив, его сопровождает, для бедного раз и навсегда проиграна. Преступник (князь Валковский) здесь преуспевает, а его жертвы (Смит, его дочь, Нелли, Ихменевы и, косвенно, заграничный друг матери Нелли, Иван Петрович) — наказаны. Счастье благородных и великодушных (Ихменевы, Иван Петрович) не более, чем химера; благоденствие бездушных (князь Валковский, отчасти Алеша) — вполне реально. Безобразие (князь Валковский) носит маску изящества и красоты, а красота (маленькая Нелли, имя которой — Елена — напоминает о Елене Прекрасной) прикрыта

жалким и отвратительным рубищем. Гнусное зло (в прямой зависимости от меры его гнусности) вознесено и на этих высотах без всякой скорби процветает, а добро — поругано и оскорблено. Если свести все сказанное и то, что можно было бы в этой связи еще сказать, к общему положению (а так, по мысли Достоевского, и должен поступить читатель), то оно выразится мыслью: беззаконие управляет этой жизнью вместо закона и ложь — вместо истины. Любая справедливость — здесь аномалия; любая аномалия — здесь справедлива.

В полном соответствии с последним утверждением через весь роман проходит тема болезни. Мир «Униженных и оскорбленных» больной и ненормальный. Существовая между сумеречным светом и беспросветной тьмой, между жизнью и смертью и в области самой смерти, он и не может быть никаким иным. Естественно, что герои романа по преимуществу больны. Согласно парадоксальной логике этого безумного мира, наиболее поражены болезнью как раз те, которые духовно наиболее здоровы, а здоровы те, которые тяжелее других больны. В общей для всех смертной сени вполне «здоров» лишь тот, кто мертв, как камень, то есть князь Валковский (имя которого Петр, что значит камень, и несет, в частности, этот смысл).

Тема болезни в «Униженных и оскорбленных» поворачивается разными сторонами. Одна из них, и важнейшая, имеет в виду тот аспект, при котором болезнь и смерть выражаются в постепенном упадке и разложении, нарушении всех связей, скрепляющих живой организм. В романе всё и все так или иначе ущемлены, так или иначе тронуты разложением. Самые естественные узы кровной близости и родства разорваны: родители покинуты и сиротеют без детей (Смит, Ихменевы), дети остаются без родителей (Нелли, ее мать, Наташа, Ваня, до некоторой степени Алеша). Слабые старики и такие же слабые дети, почти младенцы, брошены на улице без всякого участия и присмотра. Все от всех отделены или отделяются, ищут особых квартир, отгораживаются в своих углах. Каждый живет сам по себе. И каждый стремится жить для себя.

Желание жить для себя, хотя бы и в ущерб другому, владеет всеми людьми зараженного смертью мира. Эгоизм во всех его вариантах — от глубокой наивности (Алеша, Катя, отчасти Наташа и Ваня) до осознанной и потому устрашающей программы (князь Валковский) — исподволь разъедает души людей и общество в целом. В сущности, в нем, этом эгоизме, и заключается, по мысли писателя, источник всеобщей болезни. Даже любовь к другому, которая по самой своей природе должна бы быть самоотверженной и бескорыстной, здесь только более или менее явная форма любви к себе. Ею движет не отречение, а сознательная или бессознатель-

ная жажда власти, подчинения другого своей воле. Таково, например, начало «нехорошей» любви Наташи к Алеше и причина ухода ее из дома.

Повествуя о том, что предшествовало этой любви и этому уходу, Иван Петрович рассказывает, как Алеша, отправленный отцом в деревню для исправления характера и приобретения «спасительных и строгих правил, столь необходимых в человеческой жизни», «сделался идолом в доме Ихменевых». «Ветреность», «легкомыслие» и «совершенное отсутствие воли» у этого «мальчика», наделенного «слабонервной восприимчивостью», подчеркиваются с самого начала. Алеша, ставший «идолом» всех Ихменевых, в наибольшей мере оказался «идолом» для Наташи. Ради него она оставляет дом, отца, мать, жертвует всем, что прежде было в ее отношениях с людьми и миром «самой полной святыней». Жертвоприношение, которое она совершает не в честь бога, но в честь «идола», и стоит за символикой ее ухода из дома под звон колокола, призывающего к вечерней молитве и звучащего здесь как погребальный.

Из объяснений Наташи с Ваней в сцене ухода и из признаний Алешы, покорно исполняющего желания Наташи и повторяющего ее мнения, ее слова, видно, что «идолом» героини является даже не ее избранник, «мальчик» с ничем неотягченной и потому всему открытой душой. Наташей владеет идея, не вполне осознаваемая ею самой, — заполнить эту свободную, как «ветер», чужую душу собой, навязать ей себя на любых условиях и во что бы то ни стало: «...рада быть его рабой, добровольной рабой; переносить от него все, все, только бы он был со мной, только бы я глядела на него! Кажется, пусть бы он и другую любил, только бы при мне это было, чтоб и я тут подле была...» (заметим: «я», «со мной», «только бы я», «при мне», «чтоб и я»). Если Наташа с таким горячным и странным упорством требует от Алешы привязанности на всю жизнь и каждую минуту, то ясно, что в этой ситуации скорее он «раб», чем она. «Наташа инстинктивно чувствовала, — говорит дальше Иван Петрович, — что будет его госпожой, владычицей; что он будет даже жертвой ее... и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая». Совсем не в будущем, а еще до всех событий Наташа руководит Алешей: ведь не он ее, а она его выбирает.

Следует подчеркнуть в этой связи, что не случайно именно Алешу, «мальчика» без всякой воли и характера, не только Наташа, но все, кроме Вани, «любят». Не имея собственной воли, он служит, как кажется, самым удобным объектом приложения, целью действия чужих влияний (Наташи, Катя, князя Валковского). Борьба за Алешу — борьба разнонаправленных волей, где естественно

побеждает тот, чья воля по тем или иным причинам оказывается сильнее.

Разумеется, не Алеша, в числе других тоже, как видим, обреченный на заклятие, — тот «идол», которому Наташа приносит в жертву «святыню». Этим «идолом» для Наташи (и не только для нее) на самом деле является «мечта» — исполненное высокомерия желание завладеть другим, его душой, удержать ее вопреки всему и всем в своей власти. Видимость самоуничужения здесь прячет незаурядную гордость.

Но, бессознательно рассчитывая на «рабство» Алеши, Наташа и сама действительно становится «рабой», вполне «добровольной рабой» своей себялюбивой «мечты». Читатель должен об этом догадаться, в частности, благодаря Баратынскому, стихи которого достаточно четко усматриваются в нескольких фразах, предшествующих сцене ухода Наташи из дома и в самой этой сцене: «...можно прожить десять лет в один год, и прожила в этот год десять лет и моя Наташа», и дальше: «Три недели как мы не видались. Я глядел на нее с недоумением и страхом. Как переменялась она в три недели! ... я разглядел эти впалые бледные щеки, губы, запекшиеся, как в лихорадке, и глаза, сверкавшие... горячным огнем и какой-то страстной решимостью»; и, наконец: «...я рада быть... рабой, добровольной рабой...» У Баратынского:

Как много ты в немного дней  
Прожить, прочувствовать успела!  
В мятежном пламени страстей  
Как страшно ты перегорела!  
Раба томительной мечты!..

Именно больная и безумная мечта захватывает Наташу: ведь нельзя удержать «ветер» (в таком значении и повторяется по отношению к Алеше это слово), и никакая «простая душа» (как выясняется по ходу рассказа) не настолько «проста», чтобы отказаться от своих желаний ради чужих. И точно так же, как на всякого умника довольно простоты, на всякого простака (вроде Алеши) оказывается довольно если не ума, то хитрости, успешно заменяющей ум там, где нужно действовать для себя и в свою пользу. В результате — любовь, так, как она проявляется у «больных» людей, несет им не радость, а страдание; она их не связывает, а разъединяет, поскольку своеволие, принявшее ее личину и направленное на другого или других, не может не быть им враждебно.

Уж если любовь друг к другу чревата враждой и даже самое бескорыстное чувство (чувство Вани), обходя страданием одного (Наташу), приносит страдание другому (Нелли), иначе говоря, уж если то, что должно связывать и дарить радость, на деле разъеди-



няет и обременяет скорбью, — то ясно, что вражда всех со всеми и каждого против всех самым точным образом передает сущность людских отношений в больном и перевернутом мире. По парадоксальной логике, ему присущей, оказывается, что самые близкие люди, непосредственно или потенциально, наибольшие друг другу враги (отношения Смита и дочери, Смита и Нелли, Ихменевых и Наташи, Наташи и Алеси, Наташи и Вани, Вани и Нелли и т. д.): ведь менее всего здесь страдают из-за самых дальних и более всего — из-за родных. Бубнова страшно мучает Нелли, но убивает девочку в конце концов Ваня, ее заботливый и нежный друг.

Не только любовь, но даже страдание здесь эгоистично. Оно враждебно задевает и очень близких (например, Смит и Нелли), и вполне чужих (Смит и Адам Иванович в кондитерской Миллера). Сосредоточенное в самом себе и наглухо отгороженное от мира, оно выражает ту обособленность, то крайнее одиночество, которые свойственны только смерти, и потому оно не может не оскорблять живых. В этом смысл «поединка» Смита и Адама Ивановича в начале романа. С обычными для Достоевского поворотами значения слов, возникающими в контексте ситуаций, фраза, которую повторяет Адам Иванович (а вслед за ним и другой — Миллер): «Зачем вы на меня так внимательно смотрите?» — должна восприниматься читателем иначе: «Зачем вы меня не видите?» И потому Адам Иванович, продолжая ее, старается подчеркнуть свое достоинство: «Я ко двору известен». Оскорбленный герой говорит о значении своей личности на языке иерархии, принятой в этом мире. На самом деле суть сказанного им ничего не видящему и не слышащему Смиту в другом и правильное выразилась бы примерно так: «Зачем вы меня не видите? Ведь я живой человек». С этим обстоятельством и связано имя оскорбленного героя — Адам. Оно здесь значит просто — человек: ведь и все человечество — только адамово племя. (Надо сказать, что имя Адам в буквальном переводе звучит как красный человек, и это определение не случайно настойчиво повторяется по отношению к Адаму Ивановичу: «опрятный немчик... с необыкновенно красным лицом», «он вспыхнул... и, пылая собственным достоинством, весь красный...» и т. д.). Будучи просто человеком, Адам Иванович в качестве «противника» Смита, уединившегося в своем несчастье и ущемленности, представляет любого живого человека. Смит стоит в стороне от всех и, в сущности, всем враждебен, как в стороне от живых и враждебна им сама смерть.

Другой персонаж, который также отделен от прочих, — князь Валковский. В отличие от Смита, одной из своих жертв, он наделен абсолютным благополучием, полной свободой. Он обособлен среди людей не как жертва, но как общий враг всех жертв, как их па-

лач. Маска благожелательности или смирения, которую он, лицедействуя, иногда надевает, означает, что в следующую минуту он «съест». Тот принцип, который господствует в этом мире — homo homini lupus est (человек человеку — волк), — прозрачно отражен в его родовой фамилии — князь Валковский<sup>1</sup>. Он противопоставит остальным не болезненной ущемленностью в себе всего человеческого, а тем, что ничего человеческого в нем нет. Оно замещено цинично оправдываемым зверством («исповедь» князя перед Ваней). Валковский может прикинуться «родным братом» (так показалось Ихменеву в начале их дружбы), но рано или поздно (в зависимости от своих нужд и желаний) он обернется зверем — неожиданная и глубокая вариация на тему гоголевской «Тяжбы», упомянутой в «Униженных и оскорбленных»: «бестия, мой брат»; «эта бестия, то есть брат»<sup>2</sup>. Цитата из Гоголя, завуалированная в тексте романа, чтобы вполне точно передавать необходимый Достоевскому смысл, должна быть сказана несколько иначе: «мой брат, то есть бестия».

Благодаря отсутствию всего человеческого в душе князя, отсутствию самой души он неуязвим: его нельзя оскорбить, так как скорбь — вне пределов звериных чувств; его нельзя унижить, так как он — сама низость. Недостигаемый ни для кого и ни для чего, он страшен всем. Он одинок не потому, почему одинок Смит, который до последней степени унижен, но потому, что, будучи ниже низкого, в перевернутом мире он вознесен. Не случайно он — князь.

По мысли Достоевского, ужаснувшей его еще до каторги и в конце концов на каторгу его и приведшей, эгоизм является общим принципом ненормальной жизни, и князь, олицетворяющий его в «Униженных и оскорбленных», — действительно «князь мира сего» и владеет им, с известной точки зрения, по праву. Его вариант этого принципа — циничный эгоизм, враждебный всем и каждому, — лишь крайнее, но логически не опровержимое выражение эгоистических чувств, себялюбивой гордыни. Эти же самые чувства остальные, не исповедуясь на этот счет, в своих поступках разделяют. То, что одни делают в силу неведения, ошибаясь, обозначая добром зло и потому только попадая в его сети, князь делает в полном сознании, во всеоружии ума — дьявольского пособника его расчетов. Именно это обстоятельство дает ему реальную власть, так как даже самая униженная из его жертв (Смит) удручающим

<sup>1</sup> Альтман М. С. Указ. изд., с. 32.

<sup>2</sup> Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 5. М. — Л., 1949, с. 112. В данном случае обыгрывается латинская основа слова «бестия»: bestia — зверь.

образом близка его породе: ведь и для Смита зверь, хотя бы и прирученный (его собака), милее брата.

Но власть «князя мира сего» — разрушительна, ибо эгоизм, будучи осознанным, возведенным в программу и последовательно проведенный в жизнь, уничтожает все. И такова вообще его суть. Эгоизм князя изумляет своим размером, но не внутренней разницей в сравнении с эгоизмом других: даже на совести Вани — Нелли, а на совести Наташи, если закрыть глаза на остальное, — Ваня. Не имеющие никаких границ и ничем не сдерживаемые, себялюбивые притязания князя отдают ему в руки весь мир, и все в этом мире существуют постольку, поскольку им это разрешает благоволение (мера жадности) князя. Имущество каждого, их жены, их дети (потенциально всё) — в области его владений, и любое желание удержать это для себя вопреки воле князя может быть им расценено как непозволительный бунт, как воровство (как раз этот смысл имеет оскорбление, которое князь бросает Ихменеву в начале их «тяжбы» и которое потом повторяется: «вор»). Таким образом, в больном и перевернутом мире при наивном или, напротив, сознательном эгоизме каждого, посягающем на благосостояние другого, на самом деле ни у кого ничего нет: эгоизм более логичный и глубокий в любую минуту может отнять у людей все, чем они, как им кажется, владеют.

Поскольку зло эгоизма заключается в его отрицательной, уничтожающей силе, нет ничего враждебнее людям и жизни, утверждающей и творящей, чем он. Свободно предоставленный самому себе и все сметающий на своем пути, эгоизм, доведенный до логического конца и мыслимых пределов, становится просто другим обозначением смерти. Он всем несет беду и ту последнюю степень утраты, которая и называется смертью и дальше которой уже невозможно идти. Вот почему так исключительно беден Смит — первая из жертв такого эгоизма. Утративший почти все, он появляется в романе как призрак, как тень, чья постоянная «квартира» (и на это есть достаточно ясные намеки в тексте) — обитель смертного мрака, непроницаемой для света мглы. «Князь мира сего», его палач, самовластно владеющий этой сферой, — «князь тьмы».

Благодаря этому обстоятельству понятие бедности в «Униженных и оскорбленных» теряет социальные границы (бедность — только материальная недостаточность) и совпадает с более широким понятием лишения. Бедный человек (и с таким значением и повторяются в романе слова «бедный», «бедная», «бедняжка») — это человек чего-нибудь лишенный (имения, родных, покоя, радости, здоровья, счастья...). Смерть здесь выступает как абсолютный символ бедности, как воплощение последней возможной потери,

бесповоротного и окончательного ущерба. И все в романе бедны настолько, насколько к ней близки.

Но человек жив и неуловим для смерти до тех пор, пока жива его душа. В иерархии вещей, отпущенных человеку судьбой и природой, любая утрата переносима, за исключением одной — утраты своей души. Всякий ущерб, и прежде всего материальный, так или иначе может быть восполнен (Ихменев, потерявший имение и место, в конце концов это место получает), и только ущерб, нанесенный душе, для человека смертелен — еще одна вариация Достоевского на гоголевскую тему («Мертвые души»). Потеря живой души или полное бездушие (князь Валковский) — сама смерть. Поэтому князь, будучи обеспеченным, имея состояние, связи, чины, возможность карьеры, — беднее бедного в этом мире.

Расширительное значение понятия бедность, вполне выясняющееся в конце романа, Достоевский подсказывает читателю с первых страниц, отсылая его к трагедии Пушкина «Скупой рыцарь»:

...О, бедность, бедность!  
Как унижает сердце нам она!

Бедность как материальная нехватка в романе появляется вместе с униженностью, ущербным состоянием души, и последнее (эта душевная ущербность) стоит у Достоевского на первом месте: «Он засуетился... и с... униженной улыбкой бедняка... приготовился выйти из комнаты». При той трактовке, которую оба понятия (униженность и бедность) в романе получают, униженность уже не следствие, не результат бедности (это тема «Бедных людей»), а сама бедность. Поэтому напоминаемые читателю пушкинские стихи в «Униженных и оскорбленных» приобретают несколько иной вид:

Как унижает сердце нам она!  
О, бедность, бедность!

Душевная ущербность — самая страшная беда, грозящая людям уже не унижением, а полным уничтожением, ничтожеством, по отношению к которому любая степень униженности обладает ведомой высотой.

Развивая тему бедности в этом плане, Достоевский в «Униженных и оскорбленных» стремится показать, что величайшее богатство, которое люди должны были бы беречь прежде всего и во что бы то ни стало, — их живые души. В сравнении со всем прочим, что человек имеет и теряет, только это даром отпущенное ему сокровище не может быть переведено на деньги, ценные бумаги и документы, так как оно вообще не имеет цены. И потеря другого человека здесь для каждого чувствительна настолько, насколько этот

другой составляет часть его души. Поэтому скорбь, причиненная старикам Ихменевым Наташей, для них важнее распри с князем из-за Ихменевки.

В этой связи и дана в романе тема детей и детства. По мысли Достоевского (возникающей не без соотнесения с известной повестью Л. Толстого), детство — то состояние души, при котором она полна творческих, жизненных сил, радостно и доверчиво открыта миру и солнцу. Все светлое, что даровано человеку и что в дальнейшем может умножиться или, напротив, умаляясь, погибнуть, заключено для человека в его детстве. Именно в это время мир предстает перед ним заманчивой, волшебной сказкой (воспоминания о детстве Вани, не случайно идущие в начале романа). Детское состояние души — то естественное богатство, та отправная точка, с которой человек и должен начать числить свои приобретения и утраты.

Достоевский высказывает эту мысль в первой главке романа, опираясь на прямую цитату из той же пушкинской трагедии — «Скупой рыцарь». Испуская дух, старик Смит повторяет слова умирающего богача — барона:

...Стоять я не могу... мои колени  
Слабеют... душно!.. душно!.. Где ключи?  
Ключи, ключи мои!..

На месте этих «ключей», означающих для старого барона его сокровище, в потухающем сознании Смита возникает Нелли, его маленькая внучка. «Душно!.. Душно!.. На Васильевском острове, — хрипел старик, — в Шестой линии... в Ше-стой ли-нии...» Последнее и самое дорогое, что вспомнил Смит, навсегда покидая сумеречную землю, был ребенок — лучшая часть его собственной больной души. С помощью пушкинской цитаты Достоевский заставляет читателя подумать, что его нищий герой на самом деле богат, но даже не подозревает о своем богатстве.

Поскольку дети животворят людские души, наибольший урон, который может быть нанесен людям, заключается в посягательстве на благополучие их детей. Ведь дети не только тепло и свет для людей в настоящем, они — их будущее. Без них невозможна жизнь человечества на земле. Тем более ненормальным представляется мир (а он таким и показан в «Униженных и оскорбленных»), где даже дети лишены детства и так же больны, как их отцы. Нелли умирает от «органического порока» в сердце — того «порока», который, принимая разные формы, имеет, однако, одно название. Она умирает жертвой общего эгоизма (отца, матери, деда, Вани, Ихменевых). Перед этим ребенком так или иначе в романе виноваты все, и эта вина тем сильнее, что, будучи заражены сами, люди

втесняют в детски-восприимчивую и беззащитную душу свой порок.

Уж если палач и жертва больны одной и той же болезнью, а эта болезнь несет смерть не только жертве, но и палачу, то что может более отрицать основы существующего порядка вещей, чем этот факт? Необходимость решительного переустройства мира здесь разумеется сама собой. И Достоевский заявил об этом в «Униженных и оскорбленных» и в «Записках из Мертвого дома» со всей определенностью и так скоро, как только смог. Каторга не заставила великого писателя изменить этому убеждению. Достоевский подтверждал его каждым новым романом, яснее и решительнее, чем в «Униженных и оскорбленных», высказывая свой взгляд на возможные пути переустройства мира. Писатель был глубоко убежден, что людям предстоит «воскресение из мертвых» здесь, на земле, что они, отказавшись быть жертвами Тьмы, станут наконец детьми Солнца, ибо такова их исконная природа, ибо и теперь они живы постольку, поскольку близки ему.

*В. Ветловская*